



— Это — война, война, — говорит она.  
Он ей: беда, что крышу не подлатали.  
— Если убьют, ну как я тогда одна  
с тремя голодными ртами?  
— Это — война. Он слизывает слезу  
с ее щеки. — Да все это — бабьи страхи.  
Я тебе шубу — веришь мне? — привезу  
круче, чем у Натахи.  
Влипла в него всем телом и, обхватив  
намертво, прикрывает с тыла.  
Грузный подсолнух, черный, как негатив  
утреннего светила,  
медленно поворачивает башку,  
шеей треща над ними.  
Он говорит ей: к первому жди снежку.  
Не пустым приду, пацанов поднимем,  
цацек всяких куплю тебе до хрена.  
Вон гудят уже. Отопри ворота.  
В куртку вцепилась. — Это война, война!  
— Это — работа.

## Считалка

Под весенним сквознячком  
навзничь — ты, а я — ничком.  
Мы прикончили друг друга,  
так сказать, одним щелчком.

— Как ты? — В норме. — Больно? — Нет.  
Проживем еще сто лет.  
У тебя пробита каска,  
у меня — бронезилет.

За метелками осин —  
солнца красный апельсин.  
Золотыми облачками  
над телами повисим.

Злись, не злись, а все равно  
ветер нас собьет в одно.  
Что замешкался, пехота?  
Поспешим: уже темно.

Хорошо — хлебать в тепле  
Щи с добавкой и т. п.  
Тишь да гладь в раю солдатском.  
Часовой на КПП.



Ну и что с того, что это Колька?  
Вместе мяч гоняли по двору.  
Расшибался в кровь. — Болит?  
— Нисколько.  
Сопли детства: мам, а я умру?

— Нет. И чашку долго вытирала.  
— Опоздаем в школу. Ты одет?  
Сперли ордена у ветерана.  
Но не сдал нас. Правильный был дед.

Что еще? В учительской разбили  
два окна, сорвав шестой урок.  
До сих пор висит в моей мобиле  
немудреный Колькин номерок.

Всякий раз, придурок, шел на красный, —  
мол, у смерти руки коротки.  
Но сейчас он каску снял напрасно  
со своей отчаянной башки.

А заядлым был! — не переспоришь.  
Подавал мне с лета угловой.  
Ты прости, но я на службе, кореш.  
Плавню пальцем жму на спусковой.



Речь на паузы дробил. Чистил ножиком ранет.  
Человеков не любил, говорил: хороших нет.  
Взгляд его — брезгливо пуст — проходя меня насквозь,  
упирался прямо в куст ежевики или в гроздь  
изабеллы. На плече света ерзало пятно.  
Наплывало время «ч», в коем честно и черно.  
Там никто уже не брат никому, не свят, не прав.  
Там наводит автомат на иакова исав.  
Смерти беглый аудит. В раскуроченном дворе  
кукла страшная сидит: муха роется в дыре  
балаклавы. Шаг назад — и на линии огня  
я узнаю этот взгляд — неизменно сквозь меня —  
в неподвижности зрачка отразивший, как в стекле,  
каплю красного жука на расколоте стволе.



«Если смерти, то мгновенной...» Хрена! Из «котла» —  
с перетянутою веной, чтоб не вытекла  
юшка, — выкрутив сорочку, Господу грубя,  
пьяный кореш в одиночку вынесет тебя,  
чтоб очнулся ты, фартовый вытащив билет,  
шевелить рукой, которой трети сутки нет,  
и, водя глазами, в коих — безнадега тьмы,  
различать больничных коек хриплые псалмы.  
— Где ты, слева или справа топчешься? — ответь,  
с голым черепом шалава, обещала ведь!  
Где коса твоя, где жало, худшая из баб?  
Сука, в муках не рожала, — так добей хотя б.  
Драя пол, стуча в запарке створками окна,  
басом Шурки санитарки говорит она:  
«Мы с тобой теперя в паре. Мы теперя — дно.  
Привыкай скорее, паря, целиться в судно».



Что ты видишь из долготы окопа  
за минуту, две? —  
огород в зеленом пуху укропа,  
в кружевной ботве;

пыльный плющ, которым забор оклеен,  
старой сливы ствол;  
под бельем забрызганный мылом клевер,  
табуретку, стол.

Засаеаш облачко над халупой,  
наблюдаеш, хмур,  
за двором, где пес, молодой и глупый,  
разгоняет кур,

бестолково лает, кусает щетку,  
учинив разгром;  
вот его и жаль, а не эту тетку,  
что бредет с ведром

поливать с утра огурцы и маки.  
Не успеет, не:  
ровно год, как ты без своей собаки  
по ее вине.



Видно, здорово напился, убаюкивая дух,  
коль не хипстера на пирсе видишь ты, а сразу двух.  
Это прям какой-то Пратчетт. Клацнув дверцами тойот,  
глупый хипстер робко прячет, умный — смело достает,  
чтоб, торча в чужой палатке с гордой надписью «Надым»,  
ты ловил ноздрями сладкий электронной цацки дым.  
Не впервой курить вприглядку бездоходному тебе,  
на челе сгоняя в складку мысль о классовой борьбе.  
Не впервой слезой давиться пересекшему Сиваш.  
Все плывет, и все двойится: крымненаш и крымневаш.  
И маячат беспартейно — между миром и войной —  
цвета местного портвейна два светила над волной.  
Ты и сам давно раздвоен: у тебя внутри мятеж,  
перестрелка, смута, зрада, разоренная страна,  
где один — Аника-воин, а другой — А ну-ка врежь,  
и обоим вам не надо ни победы, ни хрена.  
Потому что в этом гуле, продолжающем расти,  
ты боишься, но не пули — страшно резкость навести  
на окрестность, где отсрочка от войны лишает прав,  
и никчемный одиночка видит, голову задрав,  
как меж бездною и бездной, рассекая темноту,  
хипстер движется небесный с огнеметом на борту.

## Шествие

Если тебе велят — влево, а ты направо  
топаешь в аккурат, —  
не сомневайся, брат, это еще не слава  
и не свобода, брат.

Правду ори свою рэпом или былинным  
слогом, но посмотри:  
ты все равно в строю, непоправимо длинном,  
ровного рва внутри.

Вот и гадай, как лох: пафос, а может, лепет?  
Прятаться или сметь?  
Гиппиус или Блок? Быков или Прилепин?  
Родина или смерть?

Вверить спешат толпу ратники и сиротки —  
всяк своему божку.  
Хуже всего тому, кто семенит в середке,  
в плечи втянув башку.

С кем ты, — спеша, скользя? — мне за тебя тревожно.  
В тот ли вписался ряд?  
Притормозить нельзя. Выбраться невозможно.  
Разве что — в небо, брат.



Верка ропщет, ропщет: «Надо же так суметь!  
Ты за что, Господь, ему уготовил смерть?  
Он же был непьющий,  
в хоре Твоем поющий,  
сроду не делал зла.  
А этого Ты козла,  
за которым три ножевых,  
оставил в живых».

Надька ропщет, ропщет: «Что-то я не пойму:  
Ты зачем, Господь, упек моего в тюрьму?  
Нож из руки не выбил.  
Видел же, что он выпил.  
Сам, что ль, до крови лаком?  
Может, в петлю прикажешь мне?  
А семерых по лавкам —  
раздать родне?»

Ропщет Любка: «Планов не угадать Твоих:  
дал сперва двоих, потом отобрал двоих.  
Один — смирный, смурной.  
Другой — шальной, заводной,  
лют бывал после водки,  
но со мной — теплел.  
Все эти цацки, шмотки —  
к чему теперь?»

И гуськом плетутся, охая, бормоча.  
Слева и справа густо цветет бахча,  
перекликаясь пчелами. У развилки  
озадаченно тормозят.  
Одной — к тюрьме. Другой — пряником — к могилке.  
А третья хлебнет из пластиковой бутылки —  
и назад, назад.



Говорит приемыш, пасынок, лишний рот:  
«Ладно, я — урод, нахлебник, дурное семя,  
но сарай твой скреб и вскапывал огород,  
а когда повальный, помнишь, был недород,  
я баланду хлебал со всеми.

Я слепым щеглом в твои залетал силки,  
на твоем крючке висел лупоглазым карпом.  
А когда по ребрам били твои сынки,  
я в ментовку на них не капал.

Кто тебя тацил, когда ты была пьяна,  
избавлял от вшей, от пуль заслонял спиною?  
Что же ты меня выталкиваешь, страна,  
и отхаркиваешься мною?»

А она в ответ: «Ты воду, манкурт, вари  
из другой страны, что, пасынкам потакая,  
согласится слушать все эти: «твой», «твой»,  
не кривясь брезгливо. Что ты застыл? Вали,  
если есть на земле такая».



Смерть — в дверях. И жизнь свои принимает меры:  
с рукава снимая тонкие волоски,  
внутри себя глядит угрюмо, а там — химеры  
ужаса и тоски:  
то соседский Валька твой угоняет велик,  
то, посеяв нож, в подъезде ревешь ревмя,  
то поддатый отчим снова тебе не верит:  
дам — верещит — ремня!  
Звук в ушах, как будто кот молоко лакает  
или клацают на комодe часы. Темно.

Ты не спятил — это жизнь тебя отвлекает,  
увлекает на дно,  
вертит щепкой в мутной, вихреобразной яме,  
холодит ступни, щекочет песком живот,  
забывает рот, обматывает слоями  
околоплодных вод;  
боль стерев, лишив дыхания, зренья, слуха, —  
из глубин своих пузырь с пустотой внутри  
наконец легко выталкивает и сухо  
той, в дверях, говорит: бери.

## Поезд

И, вертясь, трясет нечесаной головой,  
и сопит, с часами блеклый пейзаж сверяя.  
Наш состав по водам движется, как живой.  
Хлороформом пахнет наволочка сырая.

Всех достал, трещотка (вот уж не повезло!):  
мол, стекло в подтеках, чай не разносят утром;  
чем лечить подагру; кто изобрел весло,  
москалям сейчас вольготнее или украм.

Выясняет нудно: вторник или среда?  
То ли он, хлебнув, куражится, то ли бредит.  
А еще все время спрашивает: куда  
этот поезд едет?

Но уже глупца назначил своим врагом  
с верхней полки дядька. И настучал на «гада».  
— Вы его куда — с вещами? — В другой вагон.  
Проводник суров: «Постель не бери. Не надо».

Тут законы круты: если чужак — свали.  
В коридоре — пусто. Шторки раздвинешь — голо.  
Но все глубже, глубже — в сумрачные слои —  
проникает поезд из одного вагона,

заливая светом логово темноты,  
где цветут, кренясь, медуз голубые маки,  
где, со дна поднявшись, ляхи и гайдамаки  
подплывают к нам, как рыбы, разинув рты.



Юность одержима, как мятеж.  
Все в пандан — бандана, балаклава,  
все зачтется, чем себя ни тешь:  
свергнутый родительный падеж,  
смертью перекормленная слава,  
бытие, обернутое в трэш.

Пуля — дура. Комп с разбитым ртом.  
Врассыпную — треть клавиатуры.  
Шрам зарубцевался на плече.  
Под штормовкой — маечка с принтом  
Че Гевары или Че Петлюры —  
не имеет, собственно, значе...

— Что трясешься? Хватит — о тепле.  
Я вчера — пошарь, короче, в сумке —  
стырил в супермаркете коньяк.  
Мяч у нас. Оле-оле-оле!  
Если окружили эти суки,  
есть, чем отстреляться, на крайняк.

Нам придется встать спиной к спине.  
С тылом в этот раз не подфартило.  
Гребаный не сбился Голливуд.  
Ты чего, чувак, повис на мне?  
Как всегда, патронов не хватило.  
Хоть сказал бы, как тебя зовут.

## Любовь

И она лопочет, не поднимая глаз,  
к мусорному ковыляя баку:  
«Не посылай мне, Господи, в этот раз  
ни кота, ни собаку,  
ни мужика: все спать бы ему да есть.  
Дай управиться с тем, что есть».  
Огибает лужу с голубем по кривой  
И видит его.

Он ворчит, к помойке яростно волоча  
сдохшую батарею:  
«Западло платить врачам этим сволочам.  
К яме бы поскорее  
без приبلудных тварей и сердобольных баб  
самому доползти хотя б!»  
Отдышавшись, в бак закидывает старье.  
И видит ее.



— Нет, не может быть, чтоб это была она —  
в заскорузлой шапке, в тапках, дугой спина!  
и ползет зигзагом, словно с утра под мухой.  
К слову, я частенько ей наливал вина,  
в угловом раю на улице Веснина,  
ну, когда она еще не была старухой.

А она, забыв про свой сколиоз, артрит,  
по двору плывет, точнее говоря, парит  
(подбородок вздернут, плечи — назад), срывая  
с голубых кудряшек вязаную фигию,  
потому что может, ясно же и коню,  
не узнать ее, как позавчера в трамвае.

## Гость

Не собирался — его попросили: сфоткай — чего там! —  
так, чтоб вместился дельфиниум синий, льнувший к воротам,  
или вьюнком оплетенная сетка, жимолость, или  
из белогорского камня беседка в греческом стиле.  
Он, между тем, закипал, презирая кнедлики с водкой,  
сад как сиротскую копию рая, пошлое «сфоткай»,  
сих болтунов, с кругозором козявки, склонностью к ляпу  
и на бедре белозубой хозяйки хамскую лапу.  
Брезговал каждой ухоженной грядкой, каждую соткой,  
пьяного бабника мордою гладкой. Надо же: «сфоткай»!  
Но попросили — и сдался, гоняя их от сарая  
к бане, намеренно фон оголяя: вот вам — сырая,  
в пятнах стена, неприглядная груда утвари ржавой,  
словом, — задворки удачи, откуда все вы, пожалуй.  
Злился, что лавку поставили криво, сели неловко.  
И сгоряча не смахнул с объектива божью коровку.

## Подруги

...а Людмила теперь — улитка. Во тьме ночной  
по бетонке ведет узор слюдяной слюной,  
вычисляя дневное сальдо,  
на бескостной спине качая свой сундучок:  
вдруг какой-никакой приклеится слизнячок,  
невзыскательный бомжик сада?

...а Марго — не жена ни разу, а стрекоза.  
У, зараза! Опять с утра залила глаза:  
на шиповник садится косо.  
Проползают по стеблю глянцевого жуки.  
Но зачем ей сиюминутные мужики,  
их щипки, если есть «колеса»?

...а Настюха мухой носится по двору,  
прибирая к лапкам вкусное, подобру-  
поздорову слинять не хочет.  
Увернувшись от настигающего шлепка  
мухобойки, под холку лающего щенка  
занырнув, — дребезжит, щекочет.

...а вдоль крыши горизонтальные кружева  
растянув, из дыры выходит чернеть вдова  
(мол, арахна я, ну и ладно!),  
и тринадцать пунцовых клякс предъявляет на  
опустевшем брюшке, не ведая, что она —  
урожденная Ариадна.

Все четыре привычно день обживают врозь.  
Но как только последний луч попадает в гроздь,  
в тын, что жимолостью исколот,  
тени женских фигур к некрашеному столу —  
волоска не сронив, следов на сыром полу  
не оставив — текут из комнат.

«Где Людмилка? — бурчит Марго. — Эта шлендра где?»  
Черепками закат горит в дождевой воде.  
Ариадна бесстрастно вяжет,  
языкатой Настюхе делая знак: молчи!  
Точно зная, кем хрустнул мокрый башмак в ночи.  
Но, сглотнув, ничего скажет.



«Не бросай меня, — прижимается, — будь со мной.  
Будь моей опорой, крышей, моей стеной...»  
Он кривится: «Боже,  
поменял бы Ты назойливый звукоряд!  
Столько баб на белом свете, а говорят  
все одно и то же».

Тьма слетает в сад бесшумно, как нетопырь.  
Отсыревший воздух, резкий, как нашатырь,  
заползает в окна,  
и зрачками волка  
две звезды горят, насаженные на штырь.

Он снимает ее ладонь со своей груди.  
ну давай: обличай, долдонь, городи, гунди —  
все равно уеду  
из югов твоих — горели б они огнем!  
Под кроватью — сумка, паспорт на дне, а в нем —  
мой билет на среду.

«Ха! — глумится она, — твой паспорт и впрямь на дне.  
Тащит краб его в зубчатой, кривой клешне,  
а билет мурена,  
не икнув, сглотнула. Спи, болтовней не мучь.  
На крючке — халат. В кармане халата — ключ.  
Дверь снесешь? А хрена!»

Так полвека они, уставившись в потолок,  
продолжают в ночи мучительный диалог,  
губ не разжимая.  
И когда она вдруг смолкает часу в шестом,  
он толкает ее, спеша убедиться в том,  
что она — живая.



Проводив глазами рыкнувший автозак,  
накидав предьяв тому, отфутболив эту,  
он зарыл смартфон вражды, он собрал рюкзак  
и направил стопы к Тибету.

И теперь сидит в простецких своих штанах,  
взор вперея детский  
в точку счастья сразу в нескольких временах,  
ни одну заразу не посылая нах,  
ибо есть он монах тибетский.

И покуда мы звонками из-под земли  
о дружке пропавшем тщетно наводим справки,  
он глядит с высот на красные ковыли,  
на лазурные горечавки,

повернув ладони так, чтоб не вытекал  
золотой, тягучий свет из сухого тела,  
сам себе отныне Мекка и Ватикан,  
высь и бездна, творец и тема.

Но толпе зевак, толкующих под горой  
то о тайной мантре, то о двухчастной карме,  
виден снизу лишь заштрихованный мошкаррой  
контур на закопченном камне.



*Марине Гарбер*

Жжет, истерит, надравшись, блюет в порту,  
«на» энергично перетирает в «дай!»  
Лето — диджей в любовном поту, в тату.  
Осень — джедай.

Лето грызет початок, упав плашмя  
на парапет, бубнит имена светил  
в чье-то ушко, не веря, что жизнь прошла  
и белозубый лайнер уже свинтил.

Осень бесшумно пересекает вброд  
всякую воду, тенью скользя по дну,  
в гору ползя, легко маскируясь под  
красный шиповник, черную бузину.

«Сядь, — говорит, — на камень, глаза разуй.  
Я подымлю пока за твоей спиной».  
Сел и увидел: золото и лазурь.  
Вздрогнул. И снова — золото и лазурь.  
«Вот, — говорит, — а как ты гнушался мной!

Зря не канючь: в какую, мол, почву лечь?  
Вышли в тираж твои васильки и рожь.  
Там, где взметнется мой светоносный меч, —  
там и замрешь».

